



Памяти Народной артистки России Людмилы Стрижовой

ЛИЛИЯ ЛАДИК

Стрижуля

«Когда человек умирает, изменяются его портреты», — с пронизательной психологической глубиной заметила как-то Анна Ахматова. Не так давно, вспоминая актрису Людмилу Стрижову, несколько лет тому назад стремительно ушедшую из жизни, и оглушившую этим внезапным уходом и тех, кто знал ее близко, и тех, кто на протяжении десятилетий был поклонником ее таланта на сцене, один из моих знакомых сказал: «Стрижова — это явление. Она была великой, истинно народной актрисой». Услышав эту громкую, «фанфарную» фразу (а такими оценками мы щедро разбрасывались когда-то по отношению друг к другу в далекой богемной юности), пришлось улыбнуться. Зная Людмилу Стрижову с ранней юности, живо могу себе представить, как, услышав это «навеличивание», она с юмором, но довольно жестко тут же оборвала бы его. Театр был смыслом ее жизни, она отдала ему все, что могла: незаурядный артистический дар, нервы, кровь и дыхание. Но естественная для каждого таланта жажда признания никогда не перевешивала в ней трезвого, строгого отношения к себе. И вообще, патетики она не любила.

Конечно, она знала цену своего редкого таланта и была, что называется, актрисой от Бога. Но великой она все же не была. Зато была самобытной, единственной в своем роде, не похожей даже на знаменитых актрис своего времени, портреты которых печатались в журналах. А это уже многого стоит.

К 2006 году, когда она получила давно заслуженное звание народной артистки, каковой и была от рождения, многое — из лучшего — уже состоялось в ее жизни и на сцене. В те годы расцвели полнота ее женственности и полнота ее разнообразных актерских дарований. Жена талантливого режиссера Александра Ищенко, ведущая актриса иркутского ТЮЗа, лучшие в ее творческой биографии роли по пьесам Вампилова и книгам Распутина, за которые она получила премии, и, наконец, поездка во Францию.

Заядлые театралы уже ходили в ТЮЗ «на Стрижову». Голос ее часто звучал на областном радио, где она давала интервью, размышляла о традициях русской театральной школы, читала рассказы Шукшина. В галерее известных иркутских актеров она — одна из первых. В жюри, на театральных фестивалях к ее оценкам внимательно прислушиваются.

Об этом, успешном периоде ее творчества, известно довольно много. Мне же хочется вспомнить сегодня те далекие ушедшие годы, которые в творческом смысле были для нее самыми трудными, а порой и мучительными. Вспомнить

ее «без бронзы» наслоившихся званий и общественных заслуг, — такой, какой ее знали и любили в нашей семье и в кругу самых близких друзей нашей бесшабашной юности.

Для меня она и поныне все та же. Стриж... Стрижулечка... Стрижуля.

Впервые о Людмиле (будем пока называть ее официально) я услышала от ее одноклассницы Галины Черновой, которая училась со мной на журфаке университета двумя курсами старше. Начитанная, интеллектуальная, с музыкальным образованием, она часто оговаривалась при встрече: «Вчера видела Стрижову, так нахохоталась!». Часто проговаривала она при этом и свои впечатления, с нею связанные: «Она так здорово изображала...» (и потом шли имена то одних, то других блестящих актрис — славы советской сцены). Или: «Стрижова потрясающе пересказала мне ...» (далее шло название какого-нибудь гремевшего в то время фильма).

Чернова так прожужжала мне все уши о ней, что однажды, не выдержав, я сказала: «Да приведи ты, что ли, эту Стрижову к нам в редакцию, в конце-то концов!» И услышала в ответ слова, которые польстили: «Она видела на выставке твой портрет и тоже хотела познакомиться». Конечно же, после всего услышанного я ждала этой встречи с любопытством, потому что никогда прежде не видела «вживую» настоящую артистку. А Людмиле, видимо, хотелось сравнить портретный образ, увиденный в художественном музее, с его «живым» оригиналом.

(В этом полудетском любопытстве мы потом признались друг другу.)

Почти с первой же встречи с ней мы так стремительно подружились, так открыто потянулись друг к другу, так бурно и горячо стали общаться, что не замечали вокруг больше никого. Особенно поначалу. Это был какой-то сумасшедший запой жадного, непрерывного, ненасыщаемого общения, который растягивался иной раз на сутки — трое, в которые мы почти не расставались, полусонно перемещаясь по улицам и набережной Иркутска, приезжая с ночевками в Ново-Ленино, где в узкой спальне с белыми занавесками на окнах до утра горел свет, пока в дверь не начинала барабанить ее мать, Серафима Васильевна:

— Девки, вы че, совсем сдурели? Скоко говорить-то можно? Людк-а-а-а, — сердилась она. — Замучала уж подругу. Спите! Отцу с утра на работу вставать!.. Тогда мы заползали под одеяло и там еще шептались часа полтора, потому что Стрижуля (так я ее стала называть) не успела еще до конца пересказать, проигрывая в лицах, очередной фильм. А делала она это так блестяще, что обеим было не до сна.

Кто-то из журналистов, влюбленный в нее, написал, что в ней всегда гудела какая-то мощная турбина, выгоняя вверх бурную, нерастраченную энергию ее сердца. И это, действительно, было так. А в те годы особенно еще и потому, что, окончив театральное училище, как одна из ярких его выпускниц, она довольно долго была не востребована в ТЮЗе, и с ее-то способностями выходила на сцену то в роли Зайчихи в детской сказке, то в образе какой-нибудь прислуги с тремя-пятью репликами. Это обстоятельство было предметом ее постоянных страданий.

Чтобы до конца осознать ее творческую драму, которая тянулась много лет, нужно вернуться в прошлое и рассказать о ее тернистом пути в «артистки», когда разные люди и при разных житейских обстоятельствах не раз хлестали ее по щекам, пытаясь доказать, что куда ей с ее скромной внешностью на сцену.

Однажды она сказала: «Едем завтра в Ново-Ленино! У папки день рождения, поздравим». В трехкомнатной хрущовской «распашонке» Стрижовых небогато, но чисто. На столе дымится отварная картошка с лучком и румяная курочка, драз-

нятся соленые рыжики и грузди, горка хрусткой капусты в алюминиевой чашке посыпана сверху брусникой (именинник — заядлый таежник). Гостей немного, почти все свои, перед каждым — граненые рюмочки на ножках. И вот она родимая — прозрачная, как слеза, бутылка «Столичной», до которой были весьма охочи и сам виновник торжества — Иван Иванович, и три его сына: трудолюбивые работяги с извечной русской слабинкой. Особенно младший, Борька — курчавый балагур, мастер спорта и любимец хоккейной команды, не лишенный, как и сестра, артистизма и юмора. Людмила любила его по-матерински заботливой любовью, и его загульные приключения приносили ей много переживаний. Меня посадили рядом с ним, и, глянув на его потемневшее, слегка опухшее лицо, подумалось: любимый братец только что вышел из «штопора». Но беглая горечь этого наблюдения испарилась уже через пять минут, когда, ловко подцепив вилкой крепенький груздок, Борис галантно, с неотразимым мужским обаянием поднес его мне, обронив при этом: «Позвольте предложить благородной даме наше фирменное...». И с хитрецей подмигнул сестре.

Когда лица сидящих порозовели, на диск дешевого проигрывателя легла пластинка. Первой поднялась из-за стола Серафима Васильевна. Ситцевый платок она всегда туго, вроде чепца, повязывала на голове. Крепко сбитая, слегка тяжеловатая от возраста, она так легко и плавно поплыла по комнате в домашнем своем халате, разводя руками и подзывая в пару мужа, что, глянув на свою вмиг помолодевшую подругу, крикнув: «От ты-ы-ы!», вышел к ней и виновник торжества. Высокий, сухопарый, с волнистой седой шевелюрой Ванька, как звала его жена, вышедши в круг, вроде бы и не плясал вовсе, а только крикал от удовольствия, поворачивался то туда, то сюда, глухо, ритмично притаптывал домашними тапками, убыстряя плясовой темп, да лихо откидывал временами с вспотевшего лба богатую, не поредевшую с годами седую шевелюру. Но во всей его скупой на широкие движения пляске угадывалась и мощь, и страсть пережитой когда-то любви к молодой Серафиме.

Финал плясовой завершился неожиданно. Не вытерпев, как бес из табакерки, выскочил из-за стола изрядно уже «поддатый» Борька, куражливо «прокатился» вокруг них кривым велосипедным колесом, и, стремительно обхлопав себя по коленкам, вдруг встал, точно вкопанный. Уморительное выражение блаженного деревенского дурачка нарисовалось на его физиономии. Потом он засунул палец за щеку, как это делают отпетые эзки, и звонко, точно выбивая пробку из горлышка бутылки, чпокнул, поставив большой восклицательный знак в конце вечеринки. Мы долго смеялись над ним и отходили душой в этом теплом семейном застолье, домоладцы которого были так щедро одарены врожденным, природным артистизмом.

Как рано просыпается в человеке его призвание? «Старшие сестры отца жили в Подмоскowie, — вспоминала Людмила на творческом вечере. — Когда родители уезжали навестить их, брали меня с собой. Лет шесть, однако, мне было. До Москвы до-о-о-лго ехать. В вагоне дня через три становилось скучно. Тогда я расправляла ситцевое платьишко и, пока соседи на верхней полке дремали, начинала петь: «На позицию девушка провожала бойца...» Пою, на слезу нажимаю... Из соседнего тамбура выглянут попутчики, подсядут к нам, я еще пуще того стараюсь. После концерта конфеты мне принесут, пряники. Так до Москвы с концертами и доедем. Папка с мамкой гордились, что ты! Дочь-то у них артистка!»

На самом деле ее сольные детские концерты начались гораздо раньше, еще в Ново-Ленинском «скиту» — в общем коридоре шумного бревенчатого барака —

коммуналки, где жили несколько семей. Вот там-то, встав на табуретку и шмыгая носом, совсем маленькая Людка звонко декламировала стишки и не по-детски проникновенно пела про «маленький синий платочек», который «падал с опущенных плеч». (Любовь к Шульженко, кстати, она пронесла до конца жизни.)

Но я не случайно так подробно написала выше о Борьке (так звала его обычно Стрижуля). Особая привязанность их друг к другу была взаимной. И он горячо любил ее, хотя и скрывал это под грубоватым мужским юморком. Конечно, он знал о ее заветной, сокровенной мечте. Но когда сестра подросла и все чаще стала торчать у зеркала, внимательно вглядываясь в себя и мечтая о будущем, которое вне сцены уже не представляла, Борька, наверное, оберегая ее от предстоящей боли, проходил мимо и небрежно ронял: «Ну, ты посмотри! Посмотри на себя! С такой-то «тяпкой» и в артистки?! Ты че, сеструха, рехнулась? Это ж как из меня скрипач!» И затягивал у ворота воображаемой белой манишки воображаемую бабочку.

Борька как в воду глядел. Многое пришлось пережить ей, прежде чем она полноправно поднялась на сцену. В Иркутское театральное училище она поступала трижды, и только на четвертый попала по счастливому стечению обстоятельств. На приемных экзаменах несколько членов жюри не признали внешность Людмилы сценической. Но были и те, кто настаивал на ее зачислении, угадав в ней талант незаурядный. Среди зрителей на просмотре этюдов во время приемных туров была машинистка, которой очень понравилась нестандартная абитуриентка из Ново-Ленинского скита, в отчаянии сплясавшая перед комиссией напоследок (терять уже было нечего!) жгучую цыганочку. Понравилась так сильно, что, отстукивая потом список поступивших в училище, она сделала «опечатку» с ее фамилией. Долгожданный список был вывешен на всеобщее обозрение в коридоре. Опечатку обнаружили поздно. Но не менять же заново список, когда с ним уже познакомились студенты и родители? Это же скандал! Да еще какой! И Людмилу Стрижову приняли кандидатом с испытательным сроком — до января. После каникул она стала полноправной студенткой.

У этой забавной иркутской истории есть продолжение. Любой одаренный актер из провинции мечтает учиться в столице. Мечтала об этом и Стрижуля, которая дерзнула однажды приехать в Москву и подать заявление в «Щуку», где учился ее наставник — режиссер Владимир Израилевич Симоновский.

Будучи уже народной артисткой, часто встречаясь со зрителями, она с юмором рассказывала о том, что когда-то глубоко ранило ее. По замечательному очерку журналистки Татьяны Сазоновой, которая была ей как сестра последние десятилетия жизни, знаю немножко другой вариант этой истории. Но я опишу его так, как запомнила его со слов Людмилы. (Возможно, это была ее более поздняя творческая интерпретация ушедших событий, хотя суть здесь не в мелких расхождениях, а в главном.) Итак...

— Вошла я в зал, где за длинным столом сидят члены жюри: мужчины и одна женщина. Кто в бумаги уткнулся. Кто карандашом о крышку стола постукивает. Видно, что все они уже порядком устали: поступающих до меня прошло перед ними много.

— Ну-с-с, барышня! — спрашивает, наконец, один. — Что вы нам показать хотите?

Смотрю, дама, которая рядом с ним сидела, встрепенулась и голову от бумаг подняла. Модная, вся из себя: в темных очках, ярко покрашена, и перстень с каким-то большим камнем на руке. Глянула на меня, усмехнулась:

— Милочка моя, а вы-то к нам зачем?

Я растерялась:

— Как зачем? Хочу быть артисткой!

Она брови вскинула:

— Вы-ы-ы?! Артисткой?

И так она это произнесла, что я не сдержалась, заплакала. Стою, слезы текут. Молчу. Как будто с ног меня сшибли.

— Деточка, — говорит она ласково. — Да вы посмотрите на себя в зеркало хорошенько. Кто же на вас, на та-ку-ую, в театр-то пойдет?

Я аж задохнулась! Вытерла слезы и говорю:

— Ну, уж! Пол Ново-Ленино-то на меня точно пойдет!

Она опешила:

— Ново-Ленино... Это где ж такое?

— Да у нас, в Иркутске!

— Ну, раз вы так уверены в себе... покажите нам, что вы умеете.

Остальные члены жюри улыбаться стали, смотрят, взглядом поддерживают: «Не робей, сибирячка! Давай! Жги!» А у меня в груди боль такая! Такая боль! Не высказать. Сковало всю и отойти не могу. Так и ушла ни с чем. А ведь я и петь, и рассказывать, и плясать могу...

Думаю, эта расхожая ситуация с удивительным постоянством повторяется в истории театра вообще. Вспомним хотя бы путь к вершинам заслуженной славы таких актрис, как Инна Чурикова и Алиса Фрейндлих, отличавшихся «лицом необщим выраженьем». Видно сам Бог в таких случаях испытывает человека на прочность и верность своему призванию. Вот и Людмилу испытывал.

«Но что такое красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд это, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» — вопрошал поэт Николай Заболоцкий.

Стрижуля во всем была нестандартной. Даже в расхожем, обывательском смысле нелепо было бы назвать ее по виду «милашкой» или «симпатяшкой». По отношению к ней это было как-то мелко и неточно. В магнетизме людского притяжения к ней лежало что-то совсем иное, более глубокое, чем впечатление о внешности человека. В любой компании, где она (по ее же выражению) «распу-скала хвост», пересказывая смешную или житейскую историю, сила ее артистического обаяния была такова, что устоять перед ним не могли завзятые донжуаны. К тому же она была прекрасно сложена, пластична и музыкальна. В богатой, подвижной мимике ее лица, казалось, была спрятана целая галерея человеческих типажей, и когда она «входила в раж», легко изображая их, это завораживало каждого. И все же, главное — не в этом. В душе ее мерцал тот самый «огонь в сосуде» — огонь светлой, талантливой личности, который не только поразительно преображал ее саму на сцене, но и в жизни смягчал тех, кто сталкивался с ней.

Вспоминаю незабываемый эпизод, который случился однажды после поездки на мою дачку. Никулиха — это Листвянский тракт, откуда до Байкала рукой подать. Как-то мы решили там отдохнуть дня два. Компания сложилась из юных дарований: писатель, художник, поэт, актриса... Стрижуля предупредила сразу: она только на день, завтра у нее репетиция! Это слово для нее всегда было священным.

Приехали. Маленько выпили, понежились под солнышком на берегу Ангары, поговорили «за искусство», поссорились из-за разных кумиров и тут же помири-

лись, запели у костра... И так нам стало друг с другом хорошо, так весело и легко, так тепло, что мы взялись хором уговаривать ее остаться еще на день. Уломали, уговорили, упросили... А утром уже не захотели расставаться и решили все вместе вернуться в город. Репетиция у Стрижули была вечером, но на дорогу мы вышли загодя, часа на два раньше.

Тогда еще не шастали между Иркутском и Лиственкой стремительные маршрутки, а, как большие надменные корабли, проплывали временами по дороге высокие красные «Икарусы», возившие туристов на Байкал.

Попасть на борт такого «корабля» было непросто. За рулем их чаще всего сидели прижимистые на деньгу, грубоватые шофера с массивной печаткой на пальцах и пухлой золотой цепью на бычьих шеях. В то время они довольно часто вели себя с проезжими, зависящими от них людьми, по-хамски. Чтобы уехать на дачу, хотя бы стоя, приходилось иной раз часа по три тоскливо голосовать проходящим автобусам в городе, неподалеку от микрорайона «Солнечный». Потому-то мы и вышли на тракт пораньше.

Полчаса болтали, стоя на обочине дороги, пока водители, не обращая внимания на молодежь, лихо пронеслись мимо. Да мы и не беспокоились: еще целый час в запасе. Но вот и второй час уже почти на исходе, а ни один «корабль» не тормознул около нас. Может, нас много и потому не берут? Стрижуля все чаще смотрит на часы, и мы чувствуем, как она напряжена и заметно нервничает. Значит надо оставить ее одну, остальным от нее встать на отлете, тогда шофер увидит, что взять можно только одного пассажира. Остальным не к спеху, даст Бог, позже уедем...

А «Икарусы» несутся — мимо и мимо. Лишь бензиновый ветерок от них махнет по лицам и тут же растает. И вдруг видим, выныривает из-под горки легковая машина. Может эта возьмет? Стрижуля махнула рукой, мы вздохнули. Кажется, останавливается. Но, слегка тормознув возле нее, и оглушив всех нас веселым гудком, молодой водитель стартанул дальше, как ни в чем не бывало. Пошутил, так сказать... Как в душу плюнул. Видно было, как у Стрижули побледнело и передернулось лицо.

Нам было стыдно перед ней, и все подавленно замолчали. А в это время на пригорке всплыл еще один «Икарус». До нас от него было метров триста, но голосовать, после случившегося, уже как-то и рука не поднималась... И тут на пике наших унылых дум мы услышали, как, не на шутку разозлившись, Стрижуля бодро крикнула в нашу сторону:

— Ну-у-у... Не будь я Стрижова, если этот, — тут она властно повела своей изящной, маленькой ручкой в сторону пригорка, — перед нами не остановится! — Она зазывно махнула рукой, и мы стали подтягиваться к ней.

А дальше последовало вот что... Одетая в простую футболку и черное дешевенькое трико, которое провисало у нее на коленках, Стрижуля вышла на середину шоссе и горделиво откинула голову назад. Потом выгнулась, подняла руки над головой и так замысловато развела и загнула пальцы обеих рук, что мы ахнули: Майя Плисецкая — «Кармен»!

— У любви, как у пташки крылья... — громко запела она, четко и графично выделявая при этом полубалетные «па» на асфальте шоссе перед несущимся к ней навстречу громадным автобусом. — Тщетны были бы все усилия, но крыльев ей нам не связать...

Хабанеру дерзкой, своевольной Кармен она успела допеть почти до самого значимого момента:

— Любовь дитя, дитя свободы! Законов всех она сильней! Меня не любишь, но люблю я! Так берегись любви моей! Так берегись! Меня не любишь ты... Так что ж, зато тебя люблю я!

Пораженные ее внутренней свободой и той властью искусства, которую она в себе носила и которой так просто, так легко сейчас воспользовалась, мы увидели, как огромный красный «Икарус», точно в замедленной съемке, шипя шинами по нагретому асфальту, медленно подплыл к нашей «приме-балерине» и остановился. Дверь в автобус медленно открылась. За рулем сидел бритоголовый битюг с золотой печаткой на руке, но сейчас в нем не было ничего от нагловатых его собратьев. Этот простой, ошарашенный мужик широко и радушно улыбался ей навстречу. Неторопливо, с достоинством поднявшись по ступенькам в салон и глядя на обомлевшего водителя, Стрижуля допела ему в лицо, как припечатала:

— И заставлю себя-а-я-а-а по-о-лю-бить!

И поблагодарив его, царственно опустила на свободное кресло.

Огромный автобус чихнул от удовольствия и плавно понес нашу братию в Иркутск.

Вспоминаю еще один забавный эпизод, в котором также проявилась та властная, чарующая сила ее таланта, которая влекла к ней разных людей, независимо от их возраста. Новогодние праздники в театрах актеры всегда ждали с нетерпением по одной из жизненно важных причин: для них помимо сцены это было время горячей страды, возможность подработать у новогодней елки в роли Деда Мороза и Снегурки, заметно пополнив при этом тощий актерский кошелек. «Морозили» тогда многие. От Стрижули я узнала, что в актерской среде эти напряженные елочные дни назывались очень смешно — «сенокосом».

Не виделись мы до этого дней десять, и я ее потеряла. Звоню: «Ты где?» «На сенокосе. Приезжай сегодня в ТЮЗ, увидишь наш утренник, потом поболтаем и сходим куда-нибудь...». Я обрадовалась: во-первых, можно смыться из редакции под предлогом новогоднего репортажа и заодно увидеть Стрижулю, по которой соскучилась. Старое здание ТЮЗа стояло тогда на углу улиц Ленина и Карла Маркса. Небольшое светлое фойе было так набито народом, что протиснуться вперед было нелегко. Сверкающая звезда на огромной нарядной елке упиралась в самый потолок. Вокруг нее, завиваясь в несколько кривоватых кругов, под руководством Снегурочки водила хороводы обряженная в зайчиков и снежинок счастливая малышня.

На роль Снегурки режиссер выбрал самую красивую, статную, волоокую актрису с глубоким, оперным голосом. (Не будем называть ее фамилии, чтобы не ввести читателя в искушение.) Когда она двигалась, «русая коса» колыхалась на ее высокой груди, островерхий кокошник блистал «драгими камнями», а нарядная пушистая шубка искрила снежной изморозью. Под стать лесной внучке был и Дед Мороз: веселый, румяный, с длинной белой бородой и усами. Он то и дело хлопал рукавицами и притрагивался посохом к «зайчатам», замораживая их. А когда опять протягивал его к детворе, та с визгом шараялась от него. Плотными рядами у стен стояли родители, не только матери и бабушки, но и отцов на удивление было много. Когда их чадушко тонким голоском начинало читать стихи, они вытягивали шеи и становились на цыпочки, чтобы всем своим видом поддержать отважного чтеца.

Утренник был в самом разгаре. Настал долгожданный радостный пик всеобщего напряжения, когда под команду Деда Мороза: «Раз! Два! Три!» — детвора на

пределе захлебывающегося детского восторга закричала: «Елочка, гори!». Лесная красавица тут же вспыхнула, зацвела огнями, и вокруг нее опять поплыли хоро- воды. Но когда праздник вошел в спокойные берега, а накал эмоций поубавился, плеснула вторая, высокая волна его. И произошло это так.

Откуда-то сверху трижды раздался пронзительный, разбойный свист.

— Эге-ге-е-ей!!! — звонко прокричал чей-то голос, и тут же возмутился. — Гляньте-ка, люди добрые. Дед Мороз... Снегурочка... Новый год, что ли? И без меня?!

С балкона, нависающего над фойе, спустилась толстая веревка, и по ней ловко, как обезьянка, спустилось и прыгнуло на пол какое-то «чудо в перьях», в котором у узнала Стрижулю. Потом что-то загрохотало, и к сверкающей елке, в самую гущу детворы бойко выкатилась на детском самокате забавная модная старушенция. На лохматой голове ее торчал огромный бант, поверх темной водолазки болталось пончо из грубой мешковины. Длинные дырявые перчатки, не лишённые остатков элегантности, дополняли наряд. Лицо модной старушки с хитренькими синими глазками было усыпано нарисованными веснушками. Выписав лихой круг вокруг елки, самокат подъехал к толстенькому бутузу в костюме медвежонка.

— Давай знакомиться. Тебя как зовут? — протянула к нему руку в дырявой перчатке старушка.

— Во-ва! — потупился тот.

— Во-ва... Во-воч-ка... Во-вун-чик... — пропела Стрижуля. — А я — Баба-Яга!

Проглотив от волнения слюну, медвежонок потупился и буркнул:

— Не-ет, ты не Баба-Яга! Ты непохожа...

— Как это не похожа, — подбоченившись, возмутилась та. И тут же расплылась в улыбке. — Хо-хо-хо! Это я-то не похожа — лучшая из всех Баб-Ягов!? Да знаешь ли ты, что я из самого Парижу к вам на самокате приехала! Ночи не спала, спешила, чтобы к вам на праздник успеть. Это ваши Яги, как лохудры, здесь ходят, — подмигнула она уже в сторону родителей. — А мы во Франции все молодежавые да ухоженные!

Тут она шелкнула замочком изящной сумочки, что висела у нее сбоку. Вынула из нее зеркальце, глянула в него и, слегка подбив лохматую прическу, констатировала:

— Хо-р-ро-ша! — И опять подмигнула родителям.

Неожиданный детективный сюжет набирал обороты. Взрослые зрители с нес- крываемым любопытством стали наблюдать за ним.

— А на французском сказануть можешь? — выкрикнул, похохатывая, из тол- пы родителей какой-то молодой папаша, включаясь в ее озорную игру.

— Запросто! — махнула рукой Стрижуля и тут же ляпнула что-то журчащее, музыкальное на слух (в школе она изучала французский).

Потом вынула из сумочки конфетку и протянула ее мальчику:

— Возьми, подарок от меня.

Медвежонок отрицательно замотал головой. Наверное, ему было обидно за русскую сказку и за нашу Бабу-Ягу.

— Возьми, сынок, — поддержал его голос, звучавший из толпы. — Раз она говорит на французском, значит, правда, из Парижа приехала.

Почуввав поддержку взрослых, Стрижуля взмыла вверх, и ее понесло... Пере- сказать ту талантливую «пургу», которую она понесла дальше, совершенно не- возможно.

Это был блестящий фейерверк ее актерского дара, причудливая импровизация, в которой она одновременно успевала делать все: озвучивать заданную режиссером роль, дурачиться с детьми, загадывать им загадки, вступать в диалоги с Дедом Морозом и, отвечая на шуточные реплики взрослых, рассуждать с ними на бегу о житейских проблемах, низкой зарплате и нудных начальниках. Все это было так органично связано в ее игре, что довольно скоро всем стало понятно, что никакая она не парижанка, а просто фантазерка, наша кровная, русская Баба-Яга, хорошо знающая проблемы простого люда. Только не старомодная, а «продвинутая», и не в ступе с метлой, а на самокате.

Выплеснув наружу праздничную энергию, утренник, наконец-то, выдохся. Впереди было сказочное представление на сцене, для которого детворе нужно было из фойе организовано, без толкотни перейти в зрительный зал. Детей под елкой было хоть пруд пруди, и, чтобы упорядочить этот опасный момент, режиссер придумал ход, который сейчас как раз озвучивала красавица-Снегурка:

— Дорогие дети, — глубоким грудным голосом спросила она. — Понравился вам наш праздник?

— Да-а-а!! — восторженно завопила детвора.

— А сказочные герои вам тоже понравились!

— Да-а-а!! — еще громче грянуло в ответ.

— Тогда слушайте меня внимательно... Кому больше всех понравился Дед Мороз, пойдут за ним в зрительный зал во-о-н в те двери. — Она махнула узорчатой варежкой налево. — Кому Снегурочка, становитесь за мной, а те, кому понравилась Баба-Яга, пойдут в другие двери.

Сказала и осеклась... Человек двадцать сразу кинулись к Деду Морозу, примерно столько же выстроились за ней. Остальная орава дружно ломанулась к Бабе-Яге. Смущенные родители, выручая Снегурку, пытались тактично подтолкнуть своих деток в ее сторону, но те молча и упорно сопротивлялись. Несколько «зайчат» и «снежинок» уже вцепились в подол модного рубища Бабы-Яги, и оттащить их от него было невозможно. Вздохнув и гордо откинув красивую голову в сверкающем кокошнике, Снегурочка повела свою партию в зрительный зал. За нею следом дружно хлынул огромный Стрижувский поток.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Нерастраченность ее таланта на сцене в ту пору, вероятно, и выливалась в таких вот эпизодах. Была у нее тогда еще одна «сцена», где она могла излить из себя то, что зрело и бурлило внутри нее: наши частые посиделки у кого-нибудь на квартире. Помню, с каким нетерпением ждали мы всегда ее появления, чтобы в тесном кругу дружеского застолья почитать стихи, обсудить недавнюю выставку, поспорить о новом фильме Тарковского. Тусовка наша была устоявшейся: по-разному блистали в ней юные иркутские таланты, кое-кому из которых пророчили высокое будущее. Были в ней и прекрасные рассказчики, сами писавшие прозу, и поэтические дарования, умевшие взволновать сердце стихами Тютчева и Есенина, Ахматовой и Ахмадулиной, а то и просто любители-книгочеи, открывавшие неизвестные для нас имена в литературе.

Но бывало и так. Долго перезваниваемся, договариваясь о встрече, чтобы выбрать удобное время для всех. Наконец, с бурными восклицаниями и объятиями у порога встречаемся. Но после первых новостей в застолье разговор как-то увянет, а привычные жаркие споры не разгорятся, хоть тресни! И даже традиционный в ту пору нашей бытности «Агдам» на этот раз не помогает. Тогда кто-нибудь, словно невзначай, роняет:

— А Стрижова-то где? Опять задерживается?

Тут уж все встрепенутся и начинают дружно склонять ее по всем падежам:

— Вечно она опаздывает...

— Ну, так же нельзя...

— Мы же договорились!

— Сколько ее ждать-то можно!

От сердитой компашки срочно отрягается связной (обычно это моя обязанность), который упорно вызванивает долгожданную пропажу по телефону:

— Ну, ты где? Ну, Стрижулечка, ну придумай что-нибудь. Мы же тебя уже два часа ждем! Да... все тут, кроме тебя. Закончилась? Ну, давай, давай! На такси. Скорее!

И вот под радостные возгласы заждавшейся компании она с улыбкой переступает порог. На упреки всегда отрезает слово, которое делает ее неприкасаемой: «Репетиция»!

Мы терпеливо ждем, когда она прожует бутерброд, выпьет стакан чаю, потом просим:

— Ну, что там у вас?

А ей только этого и надо. Над столом поднимается невидимый занавес и... милости просим в театр одного актера! Что делается потом с нами, со всей завядшей к этому времени компанией! Точно от горячих искр, упавших в остывающую золу, заново вспыхнет наш вялый костерок, и все вокруг сразу заиграет, забрызжет, запенится. И начнется то, что называется роскошью человеческого общения, ради которого мы тогда и собирались. Такой горячей искрой она и была среди нас.

Стрижуля знала прорву смешных театральных анекдотов. Один из них помнится даже сейчас. Новомодный режиссер для пушшего реализма ввел в оперный спектакль живую лошадь. Главный герой, восседая на ней, должен был (по его замыслу) пропеть свою главную арию, которую все ожидали. Но лошадь так стремительно пронеслась вдоль сцены, что в памяти зрителей осталось лишь его испуганное лицо — с открытым ртом и начальной фразой знаменитой арии, конец которой улетел вместе с ним за кулисы. Знаменитого певца, растерянного дирижера, озадаченных зрителей Стрижуля так точно изображала в лицах, что нам казалось: утопая в бархатных креслах Большого театра, мы видим все это своими глазами.

Актриса довольно редкого среди актеров трагикомического дара, особенно горячо любила она Фаину Раневскую, с которой ее роднил не только природный юмор, но и отсутствие страха показаться на сцене смешной и нелепой. О Раневской она могла рассказывать долго, рассуждая о тайнах ее актерской техники, вспоминая ее крылатые фразы и те смешные ситуации, в которые эта великая актриса попадала в жизни и которые передавались потом в виде классических анекдотов о ней в театральной среде из поколения в поколение.

В том, какой смешной и одновременно трогательной предстала через много лет сама Людмила в роли американской миллионерши в спектакле «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика, видятся мне уроки, взятые ею по «самоучителю» у Фаины Раневской.

Думаю, что и в нашей бурной дружбе с ней в ту пору был большой «процент» обоюдной творческой нереализованности. Не имея возможности играть на сцене, Стрижуля внимательно следила за столичной театральной жизнью, хорошо ориентировалась в русском и зарубежном кино, в мире актеров и режиссеров. Меня

же, наоборот, в ту пору театр интересовал мало. В душе моей бушевал прекрасный океан классической музыки. Еще в школе я была горячо увлечена оперой и русской живописью, которую Стрижуля знала меньше. В юности эстетические переживания столь сильны, что для них необходимы свободные уши, — человек, который будет терпеливо и внимательно слушать твои излияния по поводу Нонны Мордюковой и Олега Янковского, Моцарта или Шуберта, Сурикова или Врубеля. Такими «ушами», видимо, мы и стали друг для друга. Это было общение, которое обогащало нас обеих.

От Стрижули я впервые услышала много незнакомых для себя имен из большого театрального мира. Личность Михаила Чехова ее поражала. Величавые старики МХАТа — Грибов, Яншин, Прудкин, Пельтцер и другие вызвали восхищение. Через нее узнала я актеров нового поколения: Павла Луспекаева, Евгения Урбанского, Любовь Соколову... Много живых подробностей знала она и о Людмиле Гурченко, после «Карнавальная ночь» пережившей долгое забвение. Часто с особой теплотой говорила она о Владимире Израилевиче Симоновском и В.Б. Мерецком, которые преподавали тогда в театральном училище. Последний в ответ на ее сетования утешал: «Не горюй. Все еще будет. Твои главные роли — после сорока».

Но до сорокалетнего возраста ее было еще так далеко! Пустые годы без ролей одного актера могут загнать в депрессию и пьянство, а для другого стать временем непрерывного внутреннего возрастания, в смысле накопления культурного багажа, с которым он потом выйдет на сцену. По этому второму пути она и пошла.

Где-то в начале 80-х мы решили поехать в Москву и Ленинград (в те годы его не называли еще Питером). Тогда на всю страну гремел театр на Таганке Юрия Любимова и Большой драматический театр Георгия Товстоногова. О «Гамлете» Шекспира, где главную роль играл Владимир Высоцкий, много спорили в театральной среде. Видевшие его воочию рассказывали: попасть в этот театр было трудно, зрительный зал маленький, а желающих вкусить прекрасное на пиру высокого искусства много. Нас предупредили, что в очереди за билетами москвичи стоят с раннего утра.

Стрижуля в таких ситуациях никогда не унывала: «Пробьемся!». Симоновский вручил ей рекомендательную записку к Семену Фараде, актеру театра на Таганке, с которым был хорошо знаком. Но когда мы (счастливые, что уже здесь, в столице, на знаменитой Таганке!) приблизились к зданию театра, перспектива попасть в него, даже с запиской, не показалась радужной. Пестрая толпа интеллигентных по виду, но упорных по общей с нами цели людей, осаждала небольшое здание. Прорваться через это кольцо было невозможно. Мгновенно сообразив это, Стрижуля юрко порхнула к проходной, чтобы передать записку Фараде с кем-то из актеров, проходивших в здание театра через вертушку. Проторчали мы там минут двадцать, пока не увидели стремительно идущего невысокого мужчину в короткой дубленке с белыми отворотами. И лицо его, и покачивающаяся матросская походка показались знакомыми. Как только он появился в зоне видимости толпы, наперерез ему со всех сторон кинулись люди с возгласами, приветствиями и криками. Но он шел, как стремительный катер, глядя поверх закипающей вокруг него людской волны какими-то невидящими, застывшими глазами. И хоть промелькнул он мимо нас быстро, в память надолго врезалось его лицо — одутловатое, тяжелое, с каким-то зеленовато-землистым оттенком. Стрижуля, заметив мой столбняк, толкнула меня локтем:

— Ты что? Не узнала? Это же Высоцкий!

Мало кто знал тогда в провинции о трагедии этого актера, барда и поэта, который уже начал уходить из жизни, не в силах справиться с чиновниками, травлей прессы и своей зависимостью.

Минут через пять нас окликнули. Из проходной выглянула черная курчавая голова с горячими восточными глазами: Семен Фарада приглашал нас пройти. Войдя в маленький зрительный зал, где ряды, как в цирке, возвышались друг над другом, мы увидели: на полу, у рампы сцены, перебирая струны гитары, сидел Высоцкий в черной водолазке и джинсах. Но здесь он был совсем другой. В глазах его уже тлел угрюмый огонь мучительных размышлений Гамлета: быть или не быть?

Весь спектакль мы простояли. Свободных мест не было. Зал был забит под завязку.

Удивительная штука — человеческая память! Обмен мнениями после «Гамлета» (а ведь там был собран звездный парад театра — Высоцкий, Демидова, Сметов, Кайдановский и другие!) я не помню, хоть и писала позже диплом по этому спектаклю. А вот о том, как виртуозно добывала потом Стрижуля билеты в другие знаменитые театры, чаще всего недоступные для приезжих, помню отчетливо. Остановлюсь на этом подробней чуть позже.

В Москве мы побывали еще в Театре сатиры, попав на спектакли с участием Андрея Миронова, забежали на чай к ее однокурснице Людмиле Худаш — ослепительной красавице, жене драматурга Владимира Гуркина, с которой у нее было много душевных воспоминаний о театральном училище. И, усладившись столичными впечатлениями, покатали в Питер.

Приютила нас там Ксения Владимировна Грушвицкая — в старинном сумрачном доме, где жил когда-то Блок. Мемориальная доска с его именем висела над входом в подъезд ее квартиры на третьем этаже. Собственно говоря, это была даже не квартира, а отдельная, узкая как пенал, комната в коммуналке с одним окном и высоченным потолком. Комнатка казалась слишком узкой еще и потому, что одна стена ее до потолка была забита книгами по живописи, театру, истории, русской философии и литературе. Побывав в Иркутском ТЮЗе как режиссер-постановщик, Грушвицкая оставила яркий след в театральной жизни города и в памяти тех актеров, которым повезло работать под ее началом. Наследница дворянского рода, много лет проработавшая в Эрмитаже экскурсоводом и пережившая страшную ленинградскую блокаду во время войны, она, как никто другой, понимала Достоевского, о творчестве которого часто говорила за вечерним чаем, когда усталые и счастливые возвращались мы в ее «пенал» после очередного культурного забега. Одна из ее подруг водила экскурсии в Царском Селе, и эту незабываемую поездку они подарили нам.

Но не все так радужно сложилось в городе на Неве после нашего приезда. В «пенале» Грушвицкой мы впервые — за все годы нашей дружбы — серьезно поссорились со Стрижулей. Вспоминать об этом сейчас смешно, но тогда все было всерьез. Вечером, как обычно, намечали маршрут завтрашнего дня. Я знала, что в Русском музее открылась посмертная персональная выставка Виктора Попкова, нелепая, трагическая гибель которого потрясла страну. Это было большим событием всего — тогда еще советского — искусства. Попков прожил всего сорок два года, но оставил после себя огромное наследие: картины его занимали в Русском музее около двадцати залов. Мало кто из художников его поколения с таким

проникновением в тайну русской души, с такой любовью и болью «говорил» тогда через свои полотна о России, о ее прошлом и настоящем. Как же пройти мимо него? Конечно, нужно успеть на эту выставку и завтра идти в Русский музей. Но Стрижуля без энтузиазма выслушала мое предложение.

— Давай вначале в Эрмитаж, — сказала она.

Я задохнулась от возмущения.

— Как это в Эрмитаж? А Попков?! Ты даже не представляешь, что это за художник! У него же вся Россия, как зеркале! И вообще, нужно знать вначале родную культуру, а потом уже погружаться в другую.

Но Стрижуля, всегда такая сговорчивая, на этот раз уперлась рогами в землю:

— Хочу в Эрмитаж. Русский музей потом.

Ее неожиданный отпор поразил меня. Как?! Стрижова — такая «русопятая» с ног до головы актриса — и так (показалось мне) небрежно относится к Русскому музею?! К русской культуре?

Между нами началась горячая перепалка, благо, хозяйки не было дома. После моей долгой «патриотической» тирады, она осталась при своем:

— Ну, ты как хочешь, а я иду в Эрмитаж!

Страшно разобиженные, мы заснули в ту ночь на узком старом диванчике, сердито отвернувшись друг от друга. Конечно, в той ситуации я сама была неправа. Нельзя так активно навязывать другому свой выбор. Свобода личности человека, особенно личности творческой, тонкой по своему душевному строю — это очень деликатная тема. Но тогда мне казалось, что речь идет совсем о другом — об «измене» нашей культуре. Смешно вспоминать сейчас об этой нелепой мысли.

Утром расстались молча, каждый отправился по своему маршруту. Но долго эту размолвку выдержать мы не смогли, слишком скучным и обедненным оказался день, прожитый по отдельности в «гордом» одиночестве. И уже назавтра Ксения Владимировна водила нас по светлым залам Эрмитажа, рассказывая о шедеврах западно-европейской живописи. И все опять было как в сказке.

Стрижуле, конечно же, не терпелось попасть в БДТ. Иннокентий Смоктуновский, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Зинаида Шарко... Увидеть воочию этих актеров, имена которых гремели тогда на всю страну, мечтали все провинциальные театралы. Об актерах уж и говорить нечего! Для них это был воздух высокого искусства, без которого свободно дышать им самим на сцене было невозможно. Понятно поэтому, что попасть в те годы в знаменитый БДТ было еще трудней, чем в театр на Таганке. Тем более, что в тот вечер на сцене театра шел «Ревизор» в постановке Товстоногова, где Хлестакова блестяще играл молодой тогда еще Олег Басилашвили, а Городничего — Кирилл Лавров. Плотная, наэлектризованная толпа ожидала нас на набережной, где стояло здание Большого драматического театра. В кассе билетов, конечно же, не было. Оценив критическую обстановку, Стрижуля скомандовала:

— Пошли на «рыбалку». Ты в ту сторону... Я в эту... Спрашиваем у прохожих лишние билеты. Авось повезет!

Задание было не из легких. Всю молодость я боролась со стеснительностью, — наследием тех, чье детство прошло в селе или деревне. Потыкавшись с робким вопросом: «У вас случайно нет лишнего билетика?» — то здесь, то там, поняла: задача мне явно не по плечу. Время от времени из людской гущи выскакивала бодрая, неунывающая подруга. Голубые глаза ее азартно горели. Она бросала на ходу:

— Ну, как? — И тут же глубоко заныривала в какую-нибудь группу, где через некоторое время раздавался смех. Понятно было, что Стрижуля там уже всюду балагурит, по пути наводя разведку в нужном направлении. Минут через двадцать она уже весело бежала мне навстречу, победно помахивая издали билетами в руке.

Самое удивительное то, что их оказалось у нее не два, а целых четыре!

(Позже я поняла, что в любой ситуации Стрижуля как бы выстраивала, сама того не осознавая, некий драматургический, театральный сюжет).

— Ну и куда теперь эти лишние билеты?

— Да ты что, не понимаешь? — воскликнула она. — Посмотри сколько людей страдает! Сейчас будем выбирать, кого осчастливить! Во-о-он молодая женщина в шляпке стоит, видишь? С театральной сумочкой. По лицу видно: чуть не плачет. Наверное, совсем отчаялась.

Мы подошли к ней, и Стрижуля щедро протянула ей билет. Та ахнула и просияла от неожиданной радости. Не знаю, кто в тот момент радовался больше: сама Людмила или те, кому она предлагала потом лишние билеты.

Такая же история повторилась через год, когда мы поехали с ней вдвоем отдыхать в Прибалтику, и в Риге попали на концерт в Домский собор, где в тот вечер звучала мощная, в сопровождении органа и двух хоров духовная оратория Баха «Страсти по Матфею». Там она также изобретательно и азартно охотилась за билетами, и, собрав из них целый букет, стала предлагать их самым робким меломанам. Помню также, как в один из теплых, разнеженных вечеров шли мы с ней по узкой рижской улочке и набрали на кованую ограду небольшого костела. Двери его были приоткрыты.

— Зайдем, — отважно кивнула она. — В лоб ложкой не ударят!

С такой подругой хоть в огонь, хоть в воду! В костеле не было никого, кроме молодого органиста, которого Стрижуля тут же уговорила сыграть для нас. «Мы же издалека к вам приехали, из Сибири, а там — одни медведи, и то на балалайках играют!», — для пущей убедительности сказала она. Музыкант засмеялся и сел за орган. Он играл для нас почти час.

Сколько помню — всегда поражала меня вот эта ее способность — почти мгновенно устанавливая короткую дистанцию с разными людьми, которые минут через десять начинали общаться с ней тепло и открыто. Когда мы были с ней на Ольхоне (еще одна, отдельная история), каким-то волшебным образом добывала она у соседей и молоко, и мед, и свежий хлеб, и омуля. Конечно, во многом помогали ей при этом артистизм, врожденный юмор и привычка подтрунивать, прежде всего, над собой, которая нравилась всем.

Наблюдая за ней в эти моменты, я всегда озадачивалась: как же так? По рождению Людмила — горожанка, хоть и родилась в «скиту», на городской окраине. Но с простым народом всегда общается запросто, по-свойски, а я, жившая в селе до седьмого класса, по известной цитате вождя пролетариата всегда была «страшно далека от народа». Еще со школьной скамьи шло за мной по пятам прозвище «книжной девочки» (или «искусственницы», как позже, в студенческие годы звали меня злые языки). После вуза, неразлучное, как тень, оно перекочевало за мной в редакцию газеты «Советская молодежь», где я работала почти десять лет, страдавшая временами своей отрезанностью от коллектива. Я бы не писала об этом, если бы в связи с этими давними переживаниями не вспомнился мне смешной эпизод нашей дружбы, в котором блеснут новые черты нашей героини.

Однажды я пожаловалась ей:

— Знаешь, иногда мне бывает как-то не по себе в редакции. Обед наступит, все вместе, друженько идут в столовую. За один стол садятся. Болтают, смеются. А если ко мне в кабинет кто-нибудь заглянет, тут же со мной о Пикассо или о книге заговорит. Хотя... Я же чувствую! Что ему до этого Пикассо? Как «до фонаря» на самом-то деле! Наверное, во мне что-то не так... Вот у тебя же так не бывает, хоть ты и актриса!

— Так я же из скита, новоленинская! — парировала она.

— Ну и что? Я тоже в селе родилась.

Она помолчала, чтобы не обидеть:

— Ну-у-у... Понимаешь. Ты относишься к людям попроще.

— Это как?

Подумав, Стрижуля вдохновилась:

— А хочешь, я тебе покажу, как надо в массы вливаться?

— Конечно, хочю! Покажи.

— Значит так... Смотри. Пришла ты, к примеру, утром на работу, и тут твоя начальница. Что ты ей первое говоришь?

— Здравуюсь, конечно.

— А потом?

— По работе говорим.

— А когда у вас антракт?

— Ну-у-у, могу спросить, какой фильм она по телевизору вчера смотрела или что читала.

Стрижуля аж подпрыгнула:

— Вот! Вот где твоя ошибка!

— Какая ошибка?

— Да кто ж с тобой без конца про книги или художников говорить будет!

Я обиделась:

— А что ты предлагаешь?

— Говорить о простом. Ну, например... о колготках!

Тут Стрижуля посмотрела вниз, и каким-то завистливым голосом пропела «моей начальнице», изображая предполагаемый диалог:

— Ой, какие у вас колготки замечательные! Где вы их купили? Надо же, и к туфелькам так славненько идут!

А потом повернулась ко мне:

— Главное начать, а дальше разговор сам пойдет. Попробуешь?

Я пожала плечами:

— Ладно.

Дня через два мы встретились, и она живо поинтересовалась тем, как удалось мне соединить ее «теорию» с практикой вливания в массы. Я махнула рукой:

— А-а-а, бесполезно все.

— Ну, скажи хоть, сколько минут ты на колготках продержалась?

— Минуты две, не больше. А дальше опять как-то незаметно на книги съехала...

Стрижуля не обидно хохотнула:

— А че так мало-то?

— Ну, спросила я ее про колготки, она ответила. Ты же знаешь: ходить в магазин за тряпками — это пытка для меня!

Стрижуля всерьез озадачилась:

— Ну, ты же сама хотела в массы влиться! Вот и вливайся. Эту тему надо было

дальше развивать. Это же так просто! Ты бы спросила у нее: «Сколько эти колготки стоят? Где можно купить их дешевле? Долго вы носите их или нет? Вот у меня, например, — сказала бы, — часто затяжки появляются». Можно было спросить еще — были там колготки в сеточку или нет? Она бы тебе сразу про сеточку рассказала, советы дала...

— А что? Есть еще и в сеточку?

Стрижуля расхохоталась и замахала руками, поняв, что, несмотря на все ее старания, из меня — из «белой вороны» — другая птица вряд ли уже получится. Хотя сама она во многом была из той же белой стаи.

В своей обшарпанной тюзовской общаге на улице Киевской Стрижуля жила безбытно, часто приговаривая: «Ты же знаешь: я лентяйка и белоручка. Неженка — мамкина любимица!». Помню, когда много лет спустя на байкальской даче в ее заросшем огороде завязался на грядке первый огурец, она позвонила мне в детском восторге: «Представляешь — у меня?! У Стрижовой! И огурец — самый настоящий! Ма-а-алю-ю-усенький такой, с усиками!!».

Она жила театром, и только театром. И так остро, так бурно переживала все, что там творилось, что с годами ее бесконечные волнения по этому поводу казались мне иногда обычной суетой. Но для нее это было не так. Просто она очень болела за театр с большой буквы и хотела, чтобы он был именно таким.

В годы перестройки, когда, казалось, рухнули все прежние нравственные опоры, и вся грязь вышла из берегов, нашлось немало актеров, известных стране (в том числе заслуженных и народных), которые стали в этой мутной воде ловить золотую рыбку. Разрушение России, оплевывание ее истории и загаживание человеческих душ всегда хорошо оплачивались. В ход со сцены театров пошло тогда все: и сквернословие, и голые задницы, и потешное перевертывание полов, когда талантливые мужики с визгливыми голосами, намотав на головы цветные платки, стали гадливо пародировать старух под громкий смех дичающего народа.

Все назойливее и агрессивнее становилась реклама в телевизоре. За нее платили, не скупясь. Глядя на актеров, которые играючи, не затрачивая сердца, стали получать хорошие деньги, Стрижуля однажды дрогнула и решила попробовать. В лоб-то ведь никто не даст! Всего три слова — «Мир. Труд. Май» — нужно было карикатурно обыграть ей в рекламном ролике. Но последнее слово в этой привычной для каждого советского человека смысловой троице режиссер заменил на другое. Она отыграла их, и прозвучали они с экрана, казалось бы, смешно: «Мир... Труд... Майонез...». Но когда она увидела свой «дебют», пришла в ужас и долго сгорала потом от стыда. Мне, к счастью, не довелось наткнуться на этот ролик. Стрижуля завела о нем разговор сама:

— Я когда посмотрела, меня аж затошнило! Папку вспомнила, как он последнюю войну в штрафбате прошел, седой весь с фронта домой вернулся. Он за что воевал-то? За майонез? «Эх ты, Стрижова! — думаю. — За такую дешевку продалась!»

Режиссер рекламного ролика был в полном восторге. Еще бы! Такие перспективы с этой актрисой: вместе большие бабки можно заколачивать! Но Людмила наотрез отказалась от легкого заработка. Она никогда не забывала своего «скитского» детства, прошедшего среди простых людей. Не забывала и рабочей косточки своих братьев, и того, что пережила их многодетная семья после войны вместе с народом. Отец Людмилы, попавший в штрафбат за пятиминутное опоздание на работу, повидал на фронте многое, освобождал пленных из концлагерей, дошел

до Берлина. Потом пережил смерть старшей дочери Веры, кроме которой в семье подрастали еще три сына.

— Мамка рассказывала. Она тогда уборщицей в школе работала... Уйдет утром и дотемна... Время голодное было, только что война отгремела. В доме шаром покати — есть нечего. Чтобы перетерпеть, Верка говорит пацанам: «Мамка скоро придет... Давайте пока попоем!» А певунья она была знатная, и Генка с Юркой тоже хорошо пели. Возьмутся все за руки и к печке. Вот мамка с работы идет, смотрит: стоят за окном все в обнимочку, качаются и пою-ю-у-ут... Вот и я пою теперь. От Верки, видно, досталось...

Однажды Стрижуля позвала меня в гости к талантливой актрисе Нине Ольковой, с которой давно, еще с училища, дружила. В чистой комнатке ее, похожей на уютное пушистое гнездышко, уже поджидал нас их общий друг — Миша Ройзен, тоже актер ТЮЗа. В тот вечер спели они под гитару песни, которые я не слышала. Первая потрясла меня. Это был «Ванинский порт», в которой слышался хриплый, придушенный стон узников сталинского Гулага:

*Будь проклята ты, Колыма,
Что названа черной планетой.
Сойдешь поневоле с ума,
Возврата оттуда уж нету.*

Вторая прозвучала как кредо их жизни, одинаковое для всех троих:

*Кто-то песню пропел, не допел, оборвал,
Где-то гаснут в дороге костры.
Мы с тобою вдвоем перешли перевал,
А теперь нам спускаться с горы.*

*Ничего не копчили для черного дня.
Не ловчили, не рвали из рук.
И за это пред всеми твоя и моя,
Наша совесть чиста, милый друг.*

Сама Стрижуля, мыла ли она полы или чистила картошку, часто подпевала себе на ходу, скрашивая тем немудрящие житейские хлопоты. А уж если солировала по чьей-то просьбе в компании, то делала это так, словно проживала каждую из песен как миниатюрный спектакль.

Как-то под настроение, во время кухонных посиделок она сказала:

— Я же тебе еще мамкину любимую ни разу не пела! Слушай!

Она прикрыла глаза, глубокие подковы скорбных морщин опустились к уголкам ее рта. Мигом постарев, глубоко вздохнула и затянула тем низким, хрипловатым голосом, который я слышала только у Серафимы Васильевны:

*— Мы сяде-е-ели в саду-у-у на ска-ме-е-йке,
А над нам громко пе-е-ел со-лов-е-ей.
Во-о-он нам пел не вясе-е-люю пе-е-сню-ю-у-у.
Про разлу-у-уку вон на-ам го-во-ри-и-ил!*

С первых же звуков в ее подаче эта обычная житейская история выросла в трагедию преданной любви. «У меня все песни про любовь», — говорила Людмила зрителям на творческой встрече.

Сама она с юности была одарена изрядно подутраченной и редкой уже среди нашего поколения способностью верной, жертвенной любви к мужчине. Влюблялась часто, но всегда безответно, потому что не было рядом того, кто мог бы оценить тот золотник, который хранило ее женское сердце.

Время шло, однокурсницы из театрального училища и подруги из близкого окружения выходили замуж, рожали детей, а она все еще — при своем неотразимом обаянии — маялась одна. Мы по-прежнему, хоть и реже, собирались своей устоявшейся компанией. И по-прежнему Стрижуля была тем же веселым, негаснущим костерком, вокруг которого мы грелись. Но мало кто знал, сколько горьких, горячих слез проливала она по ночам до наших веселых посиделок.

На правах подруги, знавшей ее сердечные секреты, я понимала, что — особенно в компании, где нередко ворковали теперь новоиспеченные семейные пары — ей было тяжело и одиноко. Хуже всех. Но, слушая взрывы общего смеха после ее столь привычного, искрометного юмора, всегда недоумевала. Где? Откуда? Из каких душевных глубин черпала она ту необъяснимую силу народного жизнелюбия, перекрывающего ее внутреннюю боль, о которой так гениально говорится в одной из русских частушек:

*...А мне милый изменил.
Я измену приняла.
В уголок повесила,
Шторочкой завесила.*

Сколько жалости и прощения к «изменщику коварному» в этих строчках, и сколько внутренней силы и женского достоинства, которое не в силах посрамить злые людские пересуды! Такой она была сама. Пережитое и преодоленное страдание, когда не оставалось в нем чувства мести и злобы, видимо, переплавлялось в ней в ту жизнелюбивую силу возмужавшей в испытаниях души, которая притягивала к ней других. Сколько помню то время, Стрижуля всегда «сажала себе на хвост» более слабых: поддерживала, вдохновляла, спасала. И меня в том числе.

После одной критической статьи, опубликованной в «Молодежке», я попала в больницу. И вот по какой причине. Вначале мою статью похвалили на планерке и даже вывесили в коридоре, на стенде лучших публикаций месяца. Но через день в редакции раздался грозный звонок из обкома комсомола: автору — строгий выговор и вызов на «ковер». На «ковер» я пошла одна, без поддержки коллег и главного редактора. Там на меня, совсем еще молоденькую девчонку, долго, безобразно кричали, топали ногами, а статью признали чуть ли не «фашистской».

Через два дня редакция напечатала текст с извинениями за публикацию моей хваленной, горемычной статьи. У меня был шок и хаос в голове. Как это?! Вначале лучшая, потом худшая? Одна и та же статья?! Разве так бывает? Ответов не было. И я загремела в нервное отделение. И хоть было оно блатное, обкомовское, где хорошо кормили и вежливо обращались, пролежала я там — с томиком блоковских стихов под подушкой — больше двух месяцев. И все без толку. Врачи махнули на меня рукой, и когда я вышла из больницы, меня шатало ветерком так, что приходилось плестись от столба к столбу, от скамейки к скамейке, чтобы не упасть от слабости. Называлось это, как я сейчас понимаю, нервным истощением после пережитого стресса.

Стрижуля исправно навещала меня в больнице и все время твердила:

— Бросай своих врачей! Поехали на Ольхон, к Галке Машковой, сразу все пройдет! Вот увидишь!

Поняв после выхода из больницы, что мое дело «швах», я согласилась. И мы полетели на Ольхон в маленьком самолетике к ее бывшей однокурснице.

Как благодарна я до сих пор Стрижуле за те беззаботные, сверкающие летние дни — одно из счастливых воспоминаний юности! По утрам все трое мы бежали во двор на зарядку, где Стрижуля устраивала потешный цирк из гимнастических упражнений. А потом... Пенистое парное молоко от соседской коровы и свежий домашний хлеб. Мощное глубинное дыхание Байкала у Шаман-камня. Теплый, ласковый песок, в котором ноги утопают по щиколотку. Прохлада сухого соснового бора, где мы собирали грибы и напоенную солнцем спелую бруснику. Было забавно наблюдать, как в любой ситуации Стрижуля ведет себя как на сцене. В очередном походе увидела она в лесу старую, поваленную ветром сосну с огромными, вывернутыми корнями, похожими на гигантских змей. И тут же выстроила театральную мизансцену по древнегреческим мифам:

— Это змеи, которые душили сыновей Лаокоона! Сейчас будем изображать их...

В другой раз наткнулась на большой обгорелый пень. Что-то дикое, азиатское, мистическое было в его черных раздвоенных рогах. Она тут же протянула к нему руки и вошла в образ старой шаманки, которая камлает у огня, вызывая духи умерших предков. А однажды в силуэте поваленного дерева ей увиделась лошадь, мы оседлали ее и «понеслись верхом вскачь, словно ковбои африканских прерий». Театральные фантазии ее были так заразительны, что дурачились мы тогда от всей души. До сих пор в моем семейном архиве хранятся те озорные любительские снимки, на которых, как настоящие сыновья Лаокоона, пытаемся мы вырваться из могучих змеиных объятий и вместе со Стрижулей впадаем в транс у горелого пня. Пробыли мы там всего две недели, и мой невроз, над которым два месяца безрезультатно бились обкомовские врачи, как корова языком слизала!

Как давно это было! А между тем все в нашей жизни шло своим чередом, и мы не знали, что подступает событие, после которого нам придется расстаться на целых восемь долгих лет, когда многое в наших отношениях уже изменится... Но до описания этого важного в нашей дружбе момента необходимо одно лирическое отступление.

Не помню, сколько же тогда нам было лет? Однажды, притомившись в ожидании принца на белом коне, который наконец-то появится, припадет на колено с букетом роз и позовет (хотя бы одну из нас) замуж, в счастливую, неизведанную доселе семейную жизнь, мы решили под Старый Новый год, как это водилось истари, погадать на женихов. Это было в Ново-Ленино, у Стрижули. Когда за окном стемнело, оделись потеплее и пошли на улицу, чтобы тайком заглянуть в чужие окна, благо, тогда там стояли еще низкие дома, похожие на бревенчатые бараки. Загадывали по очереди: вот в этом окне — моя будущая жизнь, а в этом — твоя.

Мне не повезло, ни одного будущего принца я не увидела. Так и сбилось. А вот Стрижуля... «Гадаем до трех раз, потому что Бог Троицу любит!» — решили мы, не ведая еще тогда, что подобные гадания глубоко противны Всевышнему. На третий раз (это была последняя попытка Стрижули), крадучись, по жесткому сугробу подошли к большому окну, небрежно зашторенному коричневой, косо висящей тяжелой шторой и...

За окном горел тусклый свет, в комнате было так неуютно, что стало понятно: тут давно живет холостяк или вдовец. На непокрытом крашеном столе (он близко у подоконника) лежал хлеб и стояла помятая алюминиевая кружка с остывшим чаем, на газете был виден шматок сала, порезанного на крупные куски, и

начатая головка чеснока. На грубой табуретке, склонившись над книгой, сидел стареющий мужчина, одетый в темную клетчатую рубашу. На переносице у него были водружены очки с одной оторванной дужкой. Тихо переговариваясь, мы стали внимательно разглядывать его, но головы от книги, которую держал в руках, он так и не поднял. Весь ушел в чтение. Наверное, умный...

«Ну, вот и твой принц», — тихонько пошутила я. Стрижуля легко согласилась: «А что? Пойдет! Похоже, давно без жены... Отбивать не надо!». Мы прыснули со смеха и быстро побежали от окна, а потом еще долго во все горло гоготали на пустынной улице.

И что бы вы думали! Мой «принц на белом коне, припав на колено с букетом роз», растаял в моей жизни так же быстро, как ежик в тумане, оставив у меня на руках двухлетнюю дочь. А перед Стрижулей, почти в то же самое время, явился ее долгожданный принц. Только без белого коня.

Как-то, с утра пораньше (что было редкостью) раздался ее звонок:

— Лилька! Мне тебя срочно увидеть надо!

— Что-то случилось?

— Еще нет...

— Ну, давай, лети! Только скорей. Мне уж не терпится!

Стрижуля появилась на пороге с загадочным взглядом. Глаза смотрят куда-то в себя, а там — на дне — тайна...

— У нас в ТЮЗе появился новый режиссер!

— Ну, и... Что?

— Интересный.

— А ты пошто такая странная сегодня?

Стрижуля набрала воздуха и глубоко выдохнула:

— Мне кажется, он как-то особенно поглядывает на меня и на актрису N...

— На какую еще такую актрису N!!! — возмутилась я. — Ты что? С ума сошла! При чем тут она, да еще рядом с тобой? Только ты! Слышишь? Только ты!!!

— Ну-у-у...

Стрижуля замаялась и глухо озвучила свои давние комплексы:

— Ты же знаешь, я — страшненькая...

— Да кто тебе это сказал? Какая глупость! И ты в это веришь? Не смей даже так думать! Ну-ка, подойди во-о-н туда.

— Куда?

— Да к зеркалу, к зеркалу!

В коридоре у меня тогда стояло большое — от пола до потолка — трюмо. Сердце Стрижули, конечно же, чувствовало нечто судьбоносное, но, видимо, в этот решающий момент ей не хватало дружеской поддержки. За ней она и приехала. Я уловила это сразу.

— Ну, подошла...

— Посмотри, какая у тебя талия.

Стрижуля легонько погладила себя по бокам и констатировала:

— А что? Очень даже стройненькая.

— Ну, вот, а ты говоришь... А теперь посмотри на свои ножки.

— Ножки, да... Я знаю... С ними все в порядке.

Она взмахнула рукой, отбила четкие дробушки, и голубые глаза ее стали чуть ярче.

— Ну, вот, а ты говоришь...

— А теперь построй свои неотразимые рожицы и улыбнись...

Только это и надо было ей: услышать слова поддержки, войти в свою стихию и стать неотразимой. Изящной рукой подбив короткую прическу, Стрижуля вонзилась в зеркало пытливым взглядом и пошла играть — улыбкой, глазами, мимикой. Уже через пять минут она запела и стала подтанцовывать, глаза ее засияли, и вся она стала легкой, мягкой и очень женственной. Преобразилась вмиг, и как всегда, поразительно.

— Ну, вот, беги скорей в свой ТЮЗ, пока не остыла, — сказала я ей на прощанье.

Сбросив с плеч давящий груз, счастливая, выпорхнула она из двери, и уже спускаясь вниз по лестнице подъезда, остановилась на ступеньке, подняла на меня глаза, пожала плечами и громко хмыкнула:

— Правда что! При чем тут актриса N? Да еще рядом со мной — со Стрижовой! — И стремительно побежала вниз.

— Позвони! — успела я крикнуть ей.

Но звонка так и не дождалась. И только потом узнала. Всегда такая общительная, Стрижуля вдруг «ушла на дно». Новый режиссер — Александр Валерьянович Ищенко стал все чаще захаживать к ней на чашку чая в ее общежитскую комнатку, а потом и вовсе остался в ней. Я искренне за нее порадовалась. Но дальше, как это и случается в обыденной жизни, все пошло по другому сценарию. При первом же беглом знакомстве ни Александр Валерьянович, ни я — на интуитивном уровне — не приняли друг друга. Возможно, отчасти еще и потому, что с обоюдной тайной ревностью не поделили Стрижулю — одну на двоих. В семье главным должен быть муж, это понятно.

Естественно, что это стало одной из главных причин нашей последующей, некоторой дистанции с Людмилой.

Саша произвел на меня поначалу впечатление надломленного человека, не лишенного рыцарских порывов и внутреннего изящества. И только со временем это первое впечатление скорректировалось. Окончивший Биробиджанское художественное училище, а затем Харьковский театральный институт, он был, безусловно, человеком разносторонне одаренным, что подтвердили его постановки в ТЮЗе и драмтеатре.

Лучшие его спектакли, «Изобретательная влюбленная»У. Шекспира, постановки по книгам В. Распутина, пьесам А. Вампилова и В. Гуркина надолго запомнились зрителям. До Иркутска он работал в разных театрах нашей огромной страны. Одно время стажировался в БДТ у самого Товстоногова, который выделял его среди других, и это сулило ему в будущем многое. Но во время жесткой советской цензуры, работая на Сахалине, он прочел запрещенную книгу — «Собачье сердце» М. Булгакова и передал эту книгу другим. На него донесли, исключили из партии «за хранение антисоветской литературы», запретили постановки. В ту пору, похоже, он и запил, страдая от этого периодически уже до конца своего земного пути, который оборвался (уже без Людмилы, ранее его ушедшей) так нелепо.

Избалованный вниманием талантливых актрис, которые в любом театре зависят от главрежа, поначалу он довольно небрежно относился к «моей» Стрижуле, что, конечно же, возмущало меня, хотя с годами он смог и полюбить и оценить по-настоящему верную спутницу своей непростой жизни. Это и понятно: с той жертвенностью, которая жила в ней, не полюбить ее было невозможно.

А как сама Стрижуля, наконец-то дождавшаяся своего мужчину, любила его!! Это было нечто! Ничего подобного я не видела в своем окружении. В одну из по-

следних встреч на их даче в Култуке, провожая меня, она сказала: «Ты говоришь, что я выгляжу хорошо? Знаешь, я же давным-давно вся седая...» Александр Валерьянович и его годами вызревающая любовь к ней достались ей нелегко. С самого начала их совместной жизни она отдавала ему всю себя без остатка и постоянно, упорно боролась за него. Только театр — по затрате ее душевных сил — мог соперничать с ним. Иногда мне казалось, глядя на нее, уже замужнюю, что все звезды, все планеты вращаются только вокруг ее Сашеньки, который заменил ей всех и вся. Он был для нее и малым ребенком, и другом, и мужем, и режиссером, которого она, как дорогого ей человека, пронесла через всю остальную жизнь на своих плечах. И донесла-таки, с верой в него, до звания заслуженного деятеля искусств, до лучших его постановок по Вампилову и Распутину, в которых и он — в свою очередь, как талантливый режиссер, смог раскрыть на сцене все богатство и глубину ее артистической природы, ее редкий трагикомический дар. Этот союз благодатно сказался на их творчестве, лишней раз подтверждая ту истину, что браки совершаются на небесах.

Обвенчались они тихо, в храме Михаила Архангела, уже после того, как вместе прошли многие семейные испытания.

В Иркутск Ищенко был приглашен на разовую постановку спектакля «Пора тополиного пуха». После премьеры он уезжал в Семипалатинск, куда был приглашен на должность главного режиссера. Вместе с ним уезжала в новую замужнюю жизнь и моя задушевная подруга юности беспечной.

Отрывать ее от сердца было больно, тяжело и страшно. Обнимаясь на железнодорожном вокзале и подбадривая друг друга, мы думали, что расстаемся, быть может, навсегда. Все было смутно и тревожно. Я оставалась одна с ребенком, без ее неизменной, жизнестойкой поддержки. Сложится ли ее семейная жизнь там, вдали, тоже было непонятно.

Протяжно, сипловато просвистел паровоз, состав тяжело содрогнулся и, громяхая на стыках, пошел, уплывая в неизвестность, пока последний вагон не превратился в маленькую, тоскливую черную точку. Теперь на осиротевшем перроне можно было, никого не стесняясь, вволю поплакать...

Ведь вслед за ним уплывала в неизвестность счастливая пора нашей дружбы и беспечной юности, которая не повторится уже потом никогда.

Но будущее, как известно, выписывает свои непредсказуемые сюжеты. Через семь лет Людмила вернулась с мужем в Иркутск, уже навсегда. До этого проездом на очередные гастроли она лишь ненадолго заскакивала ко мне, и всегда с подарком для дочери.

В один из таких беглых приездов (Даше тогда было шесть лет) Стрижуля стала ее крестной. В Листвянке стоял ослепительный июльский день. С яркого неба сыпалось сухое, жаркое золото. Рядом с деревянным храмом звенела по камешкам узкая говорливая речушка. В заводях ее плавали важные селезни с переливчатыми, изумрудными перьями. Глядя в Никольском храме, как Дашенька вместе с новоявленной крестной трепетно держат в руках свечи, вращаясь вокруг серебряной крестильной чаши, я была на седьмом небе от избытка чувств.

Но это, казалось бы, счастливое событие стало позже досадным камнем преткновения в наших, теперь уже нечастых встречах. Живя в неизбывных страстях театрального мира с его закулисными интригами, Стрижуля воцерковлялась медленно, и по этой причине, видимо, всерьез не осознавала обязанности крестной. Это очень сильно удручало и расстраивало меня в ту пору. Вечные театральные

бури, а позже и обязанности председателя профсоюзной организации, когда ей оказали эту честь, закручивали и заматывали ее до смешных курьезов. Об одном из них она поведала мне как-то с горьким смехом: «Представляешь? Вчера прихожу на исповедь в собор Богоявления. А там отец Владимир. Ну, ты знаешь его, молодой такой... Подошла я к нему, грешки свои протараторила и давай в подробностях все наши профсоюзные страсти ему расписывать! Остановиться не могу, в раж вошла. Он слушал, слушал и говорит: “Простите, матушка, я ведь в профсоюзах-то совсем не разумею...” Мне так стыдно стало! Хоть сквозь землю провалилась! Ну, Стрижова, совсем ты осуетилась!».

И все же из дальних краев она вернулась в Иркутск другая: статус замужней женщины несколько притормозил, остепенил ее.

Время долгой разлуки — почти десять лет — конечно же, изменило нас обеих. Каждый за это время прошел положенные ему испытания, проверку на жесткий житейский излом.

Напишу вначале о себе, чтобы лучше объяснить последующее. Оставшись одна с малышкой на руках, я стала искать внутреннюю опору, но уже не в людских отношениях, шатких и переменчивых, и не в искусстве, которому горячо поклонялась с юности и которое теперь перестало отвечать на многие вопросы. Так я пришла однажды в православный храм и уже не вышла оттуда. После воцерковления у человека меняется взгляд на многие вещи. К чему я все это веду? А вот к чему... С возвращением Людмилы в Иркутск совпал всеобщий хаос в стране, который свалился на наши бедные головы. Не только в политике и экономике, но и в культуре. Грянули губительные 90-е годы, быстро перекроившие репертуарную политику театров.

Сама криминальная атмосфера той поры, когда на глазах стремительно расплывались нравственные границы и запреты, дохнула тленом в человеческие души.

В одном из московских театров «свободный от комплексов» молодой актер, прежде работавший в нашем ТЮЗе, вышел в столице на сцену в чем мать родила. (Об этом с тихим ужасом шепнула мне как-то Стрижуля.) В Иркутске громкий скандал вызвала постановка пьесы Байрона «Каин», премьеры которого прошла в... соборе Богоявления (в ту пору это был выставочный зал художественного музея с иконами сибирского письма).

Примерно в те же годы неизвестно откуда вынырнул молодежный театр с его дерзким эпатажем. На премьере одного из его спектаклей по долгу службы мне пришлось побывать. До сих пор отмахиваюсь от того впечатления, которое он тогда произвел на меня.

На сцену, пред очами зрителей, явилась тяжеловесная молодая дива. Красные ботфорты облипали ее голые ляжки, в руках свистел длинный бич, которым она то и дело хлестала наползающую на нее полубезумную толпу. И все это — под громкий, отупляющий бой барабанов, за которым невозможно было расслышать реплики. Оказалось, что сие действие символизировало кровавую французскую революцию. Видимо, это была поданная в лоб параллель с тем, что происходило тогда и в нашей стране.

Эстетика «безобразия» рвалась на сцену. Театральный Иркутск закипел в мировоззренческих столкновениях, его раздирало на части. Рецензии на спектакли проходили в газете через наш отдел культуры. У меня начались жесткие стычки с главным редактором, одоббившим положительную статью на последнюю «премьеру». Походы в театр становились все более тягостными. После очеред-

ной культурной вылазки нередко подташнивало. И скоро я откачнулась от него вообще, тем более, что с трудом воспринимала уже игру кипящих человеческих страстей, которые так ярко изображаются на сцене, и которые, по свидетельству святых отцов, не полезны душе.

При первых же наших встречах после долгой разлуки Стрижуля почувствовала во мне эту резкую перемену. Как одаренная, честная актриса, призванная к высокому служению Мельпомене, она не могла не принимать и на себя часть вины и стыда за то, что творилось тогда на многих сценах. Не только в Иркутске, но по всей стране. Наши — запойные, восторженные в прежние времена — разговоры о театре стали беглыми, осторожными.

Перестав ходить в театр, я выбиралась теперь туда совсем редко и только «на Стрижову», потому что там, где она играла, никогда не было ни пошлости, ни цинизма, ни заумного авангарда.

Лет семь или восемь (я уже работала в пединституте) ходили мы со студентами на спектакль «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика, обычно перед этим я советовала им: «Купите цветы. Будете жалеть потом, что пришли без них...» Какой у студентов доход? Они приходили — просто так. Но в антракте все же скидывались, и кто-нибудь убегал за большим букетом для Стрижовой.

В героиню этого светлого спектакля (а он держался в репертуаре ТЮЗа много лет) влюблялись все. Зрительный зал всегда был полон.

Миссис Сэвидж — миллионерша, вдова бальзаковского возраста. Желая заполучить доставшееся ей наследство, неродные дети мужа по сюжету пьесы отправляли ее в дом сумасшедших.

И вот на сцене появлялась почтенная дама в элегантной шляпке, которая в одной руке несла чемодан, а другой прижимала к груди одноглазого плюшевого мишку, с которым не расставалась. Может и впрямь больная? Но с первых же слов актрисы было ясно: тут что-то не так!

Американскую сверстницу Людмила Стрижова наделила той внутренней свободой, которая жила в ней самой. Спокойно входила ее Сэвидж в холодный, равнодушный дом скорби, где томились затравленные, поникшие люди, для которых она вскоре становилась «лучом света в темном царстве». Ее героиня жила в мире возвышенной, неистребимой романтики. Легко раздаривая свои миллионы бедным, до седых волос оставалась она ребенком с чистой душой. Но при всей внешней чудаковатости в этой элегантной даме просматривался тонкий «инженер человеческих душ», который зорко подмечал чужую боль и тут же на нее отзывался. По-житейски мудро, по снайперски точно, по-детски озорно и непосредственно.

Какой значимой в этом смысле была одна из главных сцен спектакля, когда — почти уже старуха по возрасту — миссис Сэвидж ловко вскакивала на стол и начинала лихо играть на воображаемом тромбоне. Как дирижер-виртуоз, мигом собирала она вокруг себя игровой «оркестр» из больных пациентов, снимая с них оковы страха, зажатости, возвращая забытую свободу и внутреннее достоинство.

По поводу другой роли вспоминается мне одна из наших встреч, на которую Стрижуля пришла очень расстроенной. На вопрос отмахнулась устало. «Ты не представляешь, какой бардак бывает у нас теперь во время спектаклей и какие к нам зрители теперь приходят. Подростки, молодежь... Ведут себя по-свински, по-хамски! Ни-че-го не слышат! Ни-че-го не чувствуют! Играем, а в зале — слышно — как бутылки по полу катаются. Жуют, гогочут, шуршат пакетами... Ну, вот как пробиться к ним, если играешь драматическую роль?» — как бы самой себе

задала она вопрос в конце этого горестного монолога. (Это, кстати, были те самые годы развала страны, когда стремительно «устаревали» такие понятия, как культура и воспитание.)

Однажды такого хамского отношения зрителей к труду актеров ее душа не вынесла. Она «вынырнула» из роли, вышла на авансцену и стала говорить с ними. Не знаю, какие уж слова она сказала им тогда, но только после этого в зале наступила тишина, которая не нарушалась уже до финала спектакля.

В тот вечер она играла буфетчицу Анну Хороших в пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Зная о внутренней напряженности этой роли, нетрудно представить, что переживала в тот вечер Людмила и почему решила выйти на столь откровенный разговор.

Я смотрела этот спектакль (постановка Александра Ищенко) несколько раз. Анна в этой пьесе — героиня второго плана. Но Стрижова играла ее так ярко и драматично, что ее образ надолго врезался в память. В судьбе буфетчицы Хороших аукнулось эхо последней войны. Юной девушкой проводила Анна на фронт жениха. Обещалась ждать, но тот канул в хаосе военного лихолетья. Что случилось потом? Тоска одиночества толкнула ее на случайную связь, или кто-то грубо пограл ее девичью честь? Но не дождавшись любимого, Анна «принесла в подоле» ребенка. Афанасий же пронес свою любовь через пекло войны, сталинские лагеря, выжил и вернулся к невесте. Но пришел к ней тогда, когда Пашка был уже подростком, встретив отчима в штucky. Для него он, запивший с горя и покалеченный на фронте — всего лишь хромающий «инвалид», а Пашка для отчима — сопливый «щенок». Каждый из них пытается стать главным в сердце Анны, как бы подталкивая ее к новому, теперь уже двойному предательству. Так в неразъемный узел завязывается на сцене душевная драма этой странной, скандальной семьи, где мучаются все трое, и где тяжелее всех Анне Хороших.

Как можно одновременно сыграть любовь и боль, отчаяние и надежду, вину, счастье и страх в «одном флаконе»? Людмиле Стрижовой это удавалось. Познавшая горечь своего предательства, ее Анна не могла успокоить душу, сгорающую в огне полярных чувств. С одной стороны — Афанасий жив, он вернулся к н е й и по-прежнему любит ее! И она счастлива. С другой — вина, за которую она себя не простила. («Я всю жизнь буду стелиться перед ним», — отвечает она на упрек сына). Анна мучается страхом потери то мужа, то сына. На плечи ее давит усталость бесконечных попыток примирения враждующих сторон. И вся эта горячая смесь постоянно бурлит и сжигает ее сердце.

Как раненая тигрица, бросалась Анна Стрижовой в спектакле защищать то сына от мужа, то мужа от сына. И наступал, наконец, момент (кульминация ее переживаний, одна из лучших сцен, сыгранных Людмилой в этом спектакле), когда гудящий внутри нее вулкан огнеметом вырывался наружу.

Накатывала очередная стычка Пашки с Афанасием, где она, вконец обессилев, с отчаянной яростью выкрикивала сыну, единственной своей кровиночке: «Замолчи, крапивник!» И тут же, пошатнувшись, затыкала себе рот, ужасаясь тому, что вырвалось из глубин ее исстрадавшегося сердца. Напоминая грубыми повадками нелюбимого, Пашка всегда стоял перед ее глазами, как предательский грех ее юности. И когда закрывался занавес, и мы прощались с героями спектакля, было понятно, что Анна Хороших в исполнении Стрижовой до конца жизни будет нести этот нелегкий крест мучительных метаний.

За долгие годы творческой жизни Стрижова сыграла много разных, непохо-

жих ролей. Сказочных: коварная Наина («Руслан и Людмила», А. Пушкин), лихая Атаманша («Снежная королева», Шварц), добрая Зайчиха («Зайка-Зазнайка», С. Маршак). Острохарактерных: Простакова («Недоросль», Д. Фонвизин), Манефа («На всякого мудреца довольно простоты», А. Островский), баба Яга («До третьих петухов», В. Шукшин), Мерчуткина («Юбилей и другие шутки Антоши Чехонте», А. Чехов). И драматичных, о которых упомянуто выше. Перечисляю лишь малую часть из них.

Но зрелость, глубину и вершину своего таланта она отдала распутинским старухам. Нет, не зря ее педагог В.Б. Мерецкий пророчил ей: «Твои лучшие роли — впереди, когда тебе будет за сорок».

Людмила не раз говорила, что роли Анны, а позже и Дарьи в «Прощании с Матерой», — самые сокровенные для нее. Накануне этих спектаклей она избегала встреч, чтобы побыть в тишине, глубже занырнуть в себя и найти там то настоящее, исповедальное, что несут в суетный мир ее монументальные по своему нравственному масштабу героини.

«Последний срок» В. Распутина на сцене иркутского ТЮЗа театралы ждали с нетерпением, ведь в Иркутске жил автор книги, а это большая ответственность для всех актеров. А для нее уж и не говорю какая...

Как-то Людмила рассказала случай, который произошел в театре: «Отыграли мы «Последний срок». Сидим в своей комнатешке перед зеркалом, грим смываем. И тут врывается к нам мужик. Здоровенный такой амбал! Слезы кулаком вытирает... Толком даже сказать поначалу ничего не мог. Оказалось: он мать свою в старухе Анне узнал. Давно, говорит, ее не видел... А тут еще ваш спектакль. Меня будто огнем прожгло!

Чуть кости не переломал, обнимал, как медведь. «Не уходите, — кричит, — я мигом, на такси!» И ящик шампанского всем актерам приволок. Северянин видать, денег много... «За мать, — говорит, — мою давайте выпьем! Еду к ней, обещаю!».

Хорошо помню: на премьере спектакля слезы подступали почти сразу. На сцене — нехитрая обстановка деревенской избы с железной кроватью, на которой лежит что-то легкое, бестелесно-пугающее, покрытое одеялом. И когда старуха Анна, задыхаясь от слабости, произносит первую фразу, слабый голос ее, похожий на далекое эхо, звучит уже почти из того, отодвинутого от земли пространства, откуда не возвращаются...

Где подсмотрела Стрижова эту западающую, шаткую походку, когда, так и не дождавшись смерти, ее старуха сдергивала себя с кровати и сурово подгоняла (снова жить!) свои омертвелые ноги? Где взяла ту упорную, терпеливую силу, с которой обучала потом дочь Варвару жалостному похоронному причету, чтобы та обвыла ее после смерти по всем правилам старинки? Какая непередаваемая интонация стыда, мольбы и сердечной боли звучала в ее голосе, когда дети ссорились у смертного ложа матери, решая, у кого из них теперь ей придется жить?

Нина Олькова, которая играла тогда Варвару, отправила мне по электронке поразительный снимок. Занятые в этом спектакле актеры сфотографировались после премьеры на память. Все, кроме Людмилы, вынырнули из своих ролей и тепло улыбались в камеру. Они были уже з д е с ь. И только актриса Стрижова в белом ситцевом платке, туго, по старинке подвязанном под подбородком, все еще была т а м, на последней черте между жизнью и смертью. На снимке сидела старуха, которая изжилась на земле «до самого доньшка, выкипела до последней капельки крови».

На белом и как бы остывающем лице ее уже лежала печать особого знания, недоступного нам, живущим. Такой была на сцене ее Анна.

Творчество — это всегда тайна, в которую не проникнуть. Сколько в этой роли в Людмиле Стрижовой было своего, данного ей от природы таланта и сколько актерской техники, наработанной годами? Кто знает? Но именно в этом и последующем сценическом образе смогла она подойти к самым корневым основам народной жизни.

Величественную старуху Валентина Распутина — Дарью Людмила сыграла на сцене, когда ей самой было уже почти под шестьдесят.

В повести «Прощание с Матерой» есть стержневой по смыслу образ: могучее дерево — царский лиственъ. Мощные, живоносные корни его так глубоко вросли в землю, что, кажется, оно держит на них всю Матеру, — тот уходящий, светлый, трудолюбивый крестьянский мир, слитый воедино с природой, который испокон веков освящался и управлялся чуткой народной совестью и родовой памятью.

Таким деревом, покрывающим своей кроной беспаятные, заблудшие поколения, ей и нужно было стать в спектакле, который Александр Ищенко поставил как плач о нашей оскудевшей исторической памяти, о забытых могилах и порушенных святынях. «Век вывихнул сустав...» — скажет об этом времени классическая литература. Дарья — одна из тех, в ком жива и вера, и память предков, и чуткая на нравственную патологию совесть. Именно она вправляет в спектакле этот вывих.

Распутинская Матера помогла Людмиле Стрижовой погрузиться на предельную глубину дарованного ей драматического таланта с первой же премьеры спектакля.

Помнится, когда я впервые увидела его декорации, трудно было поверить, что это странное пространство на сцене, похожее на обгоревший сруб обугленной избы, где все перемешалось: огородные жерди и мостки, лесенки и висящая рама пустого окна, жерди и деревянный могильный крест, грубые табуретки и струганные лавки, — что все это можно сделать живым.

Надо сказать, что далеко не сразу обжили это сценическое пространство остальные участники спектакля. Он вызревал постепенно и согревался медленно. Нужно было время для того, чтобы актеры еще добрали в себя глубину пронзительной авторской прозы. Им, горожанам, далеко отстоявшим по возрасту от поколения Дарьи, говорившего на сочном народном языке, не так-то просто было природнить к своей речи все эти «ежели», «пошто», «говорела», «ндравится» и «куды тебе с добром». Природнить так, чтобы они шли изнутри их перерожденной природы.

Поначалу органичность этой речи, нравственный накал спектакля и масштабность поднятых в нем проблем несла на своих плечах в одиночку только Стрижова, вошедшая в него естественно, без натуги. Трудно себе представить, как выдерживала она тогда (даже чисто физически, не говоря уже о сердечных и нервных затратах) такой груз, где после длинных кусков авторской прозы, которые она великолепно озвучивала, нужно было стремительно становиться Дарьей, разыгрывая очередную, трагическую по смыслу, мизансцену вроде той, когда Дарья, понимая, что родных могилок от затопления ей уже не спасти, приходит к родителям на кладбище:

«Это я, тятка. Я это, мамка. Вот пришла, совсем ослобонилась, корову и ту седни увели. Можно помирать. А помирать, тятка, придется мне мимо Матеры... Ды-ы-мно, дымно у нас. Продыху нет от дыму. Сами видите. А меня-то вы ви-

дите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к вам надо... рази можно меня к живым? Я ж туда непригодная. Я вашего веку. Мне к вам...»

Спустив платок на плечи и стоя на коленях, дрожащими руками оглаживала Дарья Стрижовой жесткую травяную щетину могильных холмиков, приникала и распластывалась над ними так, что казалось: вот-вот сама она уйдет под землю к тем бесчисленным поколениям, которые знали непреложную, попрунную при ней истину: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни».

Этот протяжный трагический монолог, ключевой в повести автора, Людмила выставляла на сцене всей глубиной раненого надорванного сердца своей Дарьи, всей мощью и горячностью ее натуры, всем своим актерским темпераментом. В ее исполнении он был и авторским плачем, и жгучей исповедью, и колоколом народной памяти. И когда он заканчивался, в дымной темноте сцены, залитой багровыми отсветами пожара, гулко ударял далекий колокол.

Роль Дарьи стала вершиной ее творчества, по достоинству оцененной на разных уровнях: почетный диплом 1-го Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», чуть позже серебряный диплом этого же фестиваля, премия губернатора.

Любое серьезное общественное признание накладывает на талант дополнительную нагрузку. Пройдет несколько лет, она получит звание народной артистки и вместе с Александром Ищенко (теперь уже заслуженным деятелем искусств) будет упорно бороться в театре за возвращение русской классики на сцену ТЮЗа. Пойдет в школы — искать юные таланты, увлекая их красотой русского слова, величавой поступью русской прозы и напевностью русской поэзии. Ее воспитанники будут читать на конкурсах прозу Бунина, стихи Рубцова, потешные сказы Писахова. А сама она будет участвовать в Иннокентьевских чтениях, выступать в разных аудиториях с рассказами Василия Шукшина, поддерживать детские театральные коллективы на ежегодном Пасхальном фестивале, передавать свой опыт студентам театрального училища, готовить творческие встречи со зрителями в Доме актера, где будет петь не только лирические советские песни, но и духовные канты православных поэтов.

Сейчас очень трудно понять, почему на блистательном ее бенефисе, приуроченном к 60-летию юбилею, не было ни газетных журналистов, ни телевидения, которое должно бы запечатлеть для истории ту незабываемую атмосферу праздника Мельпомены, на котором всеми гранями играл, искрился и брызгами шампанского, пьяняще рассыпался в зрительном зале ее талант. Наверное, потому, что самопиаром она никогда не озадачивалась и была безалаберна в хранении своего скромного видефонда.

Как я жалею, что в свое время вернула ей кассету с записью спектакля «Последний срок»! Она лежала у меня года три, и, зная за ней эту легкомысленную черту, я долго не хотела ее отдавать ей. А когда вернула, та, конечно же, канула бесследно.

Так же безалаберно относилась она и к своему здоровью. Всегда тянула время, когда надо было сходить к стоматологу или «глотать кишку», чтобы в очередной раз проверить больной желудок.

Поэтому весть о том, что Стрижуля заболела, да еще так серьезно, была для всех нас, как гром среди ясного неба.

Последний раз мы увиделись с ней почти перед самым новым 2012 годом. Она лежала тогда в больнице на 8-й Советской, в отделе гастроэнтерологии, и я

пришла навестить ее. Стрижуля вышла из палаты с потухшим, сероватым лицом, тихая и отстраненная. После рассказа о неутешительном результате обследования, заметив мою тревогу, вдруг громко рассмеялась и сказала:

— А помнишь, как мы ездили с тобой в Литву, в Каунас, чтобы Чюрлениса посмотреть?

— Ага... Приехали на вокзал в пять утра, добрались до музея, а он был еще закрыт, — обрадовалась я. — И нам пришлось с тобой до десяти утра бичевать на скамейке. Мы еще никак не могли там уснуть. Холодно было... Слушай, а почему ты про это вспомнила?

— Я многое тут вспомнила... — сказала она. — Много передумала, и многое поняла...

— А что поняла-то?

— Многое... — уклончиво протянула она, как будто отодвигая меня от той черты, куда она уже заглянула.

Время свидания пролетело стремительно. Скоро ее перевели в онкологическую областную больницу. С большим трудом удалось дозвониться до нее однажды в тот момент, когда она лежала под капельницей.

— Перезвони через час, — слабым голосом отозвалась она. — Я скажу, когда можно будет прийти ко мне в палату.

Но трубку больше никто не брал.

Ольга Плетнева (она ухаживала за Стрижулей, когда ту выписали домой как безнадежную больную) вспоминала: «Людмила, пока сознание возвращалось к ней, до последнего жила в театре. «Играла», «репетировала» и все просила кого-то: «Свет! Дайте больше света на сцену!»

И еще один эпизод тех печальных дней... Несмотря на все препоны, однажды все же прорвалась к ней в онкологическую палату Нина Олькова. Людмила лежала на кровати лицом к стене. И сколько та ни звала ее, Стрижуля так и не обернулась к ней лицом. Не хотела, чтобы видели ее слабость. Понимала, что уходит.

Песочные часы ее жизни стремительно истекали. И тоненькая, тающая на глазах струйка подходила к концу. Можно было уже на пальцах пересчитать остатние песчинки отпущенных ей на земле дней. А силы ее стремительно таяли.

И теперь хватало их только на то, чтобы уйти достойно и тихо. Надо было успеть главное: подготовить свою душу к тому миру, куда до нее ушли любимые ею величавые распутинские старухи Анна и Дарья.

В тот мир, ослепительный свет которого никогда не гаснет...